

Улыбка Джоконды (Э.Гуфельд)

Все рассказы Светония о двенадцати цезарях построены по одному принципу: сначала описываются светлые стороны императора, потом повествование резко меняет тональность. Метод римского историка очень уместен, когда речь идет об Эдуарде Гуфельде, и говорить о нем, как, впрочем, и обо всех ушедших, следует, избегая сомнительной ценности формулы «De mortuis aut bene, aut nihil» [16], тем более что римляне имели другую, пусть и менее известную: «De mortuis — veritas» [17].

Скажу сразу: это был очень одаренный шахматист. В свои лучшие годы Гуфельд был хорошим гроссмейстером с ярко выраженным стилем игры. И не его вина, что он оставался в тени блистательных сверстников: Таля, Спасского, Штейна, Полугаевского. Гуфельд играл в восьми чемпионатах Советского Союза, турнирах, в которых сверкали имена Кереса, Смыслова, Бронштейна, Петросяна, Геллера, Корчного, Тайманова. Характерно, однако, что никто из игравших с Гуфельдом в пору его расцвета, не называет его сильным шахматистом. Ярким, интересным, способным под настроение и в своей игре победить каждого, но — несильным.

Принято считать, что Гуфельд — типичный тактик. Мнению этому во многом способствовал он сам, постоянно публикуя свои лучшие, действительно замечательные партии, выигранные комбинациями с жертвами. На самом деле, прекрасно чувствуя динамику, он был скорее мастером инициативы, нагнетания угроз, напора. И конечно — атаки.

Были у него и крупные недостатки, прежде всего — отсутствие настоящей школы. Но если Леониду Штейну, выросшему, как и Гуфельд, из практической игры, удаюсь компенсировать пробелы в шахматном образовании расширением своего кругозора уже в зрелом возрасте и, конечно, колоссальным талантом, то Гуфельд так и остался довольно односторонним игроком — достаточно вспомнить его приверженность к фианкеттированию чернопольного слона. Защищаясь, он любой ценой стремился вызвать кризис, нередко с непоправимыми последствиями: терпения у него, как и в жизни, не было вовсе. Случалось, зарывался в атаке, переоценивая свои шансы, требуя от позиции больше, чем она содержала в себе. Ну и, разумеется, уступал соперникам, просто превосходившим его в классе игры. Тем не менее в послужном списке Гуфельда победы над Смысловым, Талем, Спасским, Корчным, Бронштейном, Глиторичем, Полугаевским, Белявским, Гортом, Хьюбнером. Не каждый может похвастать таким созвездием.

Если в собственных партиях ему нередко мешали излишняя эмоциональность и впечатлительность, то в тренерской работе эти качества не играли такой роли. Он мог заразить своей энергией и верой в конечный успех, мог быть очень предан своему подопечному — Геллеру, с которым работой долгие годы, или Майе Чибурданидзе, признавшей, что до

Гуфельда она играла в детские шахматы и что ему она в первую очередь обязана тем, что стала чемпионкой мира.

Ян Тимман с теплотой вспоминает о Гуфельде, который помогал ему во время тбилисского турнира 1971 года. Впрочем, кроме того, что Эдик хорошо подготовил его к партии с Багировым, да интересных позиций, предлагавшихся ему Гуфельдом для решения, Тимман ничего припомнить не мог. Разве что грузинские застолья с обязательными многочисленными тостами, в чем Эдик был большим докой, да стаканы вина, которые Тимман должен был осушать одним духом. Для того чтобы овладеть этим нелегким искусством, молодой голландец упорно тренировался в гостинице со стаканом, наполненным водой.

Тренерские методы Гуфельда нельзя было назвать ортодоксальными. Однажды, когда он вел за! тятия в детской шахматной школе, к демонстрационной доске вышла совсем маленькая девочка. «Сколько ж тебе лет?» — спросил Гуфельд. «Восемь», — ответила та тихим голосом. «Если тебе восемь лет, — сказал тренер, — значит, ты можешь уже оценить позицию». — «У белых лучше», — произнесла девочка после некоторого раздумья. «Принеси табуретку», — попросил Эдуард Ефимович. «Принесла? Так, теперь встань на нее, чтобы тебя всем было видно, а тебе должно быть стыдно, что тебе уже восемь лет, а ты неправильно оценила позицию. Где ж тут у белых лучше, когда...»

В 1974 году по возвращении с турнира в Маниле Петросян и Васюков по тогдашнему обыкновению отчитывались перед шахматной аудиторией. «Покажу свою победу над Портишем, — сказал победитель турнира, — хотя Тиграну Варгановичу будет неинтересно, он уже видел эту партию».

- «Ничего, ничего, хорошее блюдо можно съесть и дважды», — благосклонно заметил экс-чемпион мира, склонный порой к восточной цветистости слога.

У каждого гроссмейстера есть несколько хороших, зачастую блестящих партий, которыми он гордится. Но ни одному из них и в голову не приходило из года в год публиковать их под претенциозными названиями в книгах и шахматных журналах всего мира. «Бессмертной» и «вечнозеленой» называли партии Андерсена с Кизерицким и Дюфренем восхищенные современники. «Жемчужиной Зандворта» назвал Тартаковер партию, выигранную Эйве у Алехина в матче 1935 года. «Джокондой» именовал свою красивую победу над Багировым Эдуард Гуфельд. И хотя его соперник писал позже, что Эдик после завершения «Джоконды» не мог показать ни одну осмысленного варианта, трясся от страха во время игры, выпил литры кофе, - это выглядело скорее как попытки оправдаться. «Этой "бессмертной" Эдик меблировал свою квартиру», - мрачно шутил Багиров, но Гуфельд не уставал показывать свой шедевр еще и еще, и я удивлялся, как он может в тысячный раз повторять набившие оскомину ходы.

Сказал ему как-то: «Смотри, как бы на том свете тебе не пришлось, уж не знаю, в награду или в наказание все время разыгрывать эту партию». Смеялся только: «Это зависит от гонора...»

Роберт Музиль заметил однажды, что наибольший успех сулит маленькая, в обрез отмеренная добавка суррогата, то есть чего-то упрощенного, общедоступного; без этого никакой гений не будет воспринят публикой. Но слова эти справедливы не только для гения, каковым Гуфельд, разумеется, не был, но и для просто талантливого человека, кем он безусловно был. Вот только суррогатная добавка, привносимая Гуфельдом в свой талант, вернее — в его подачу публике, далеко переходила грань легкой приправы, превращаясь в общедоступность и пошлость, и становилась, несмотря на это, или, точнее, благодаря этому, принимаемой широкой аудиторией.

Его страстная борьба за красоту и творческий элемент в шахматах заслуживали бы только уважения, если бы и здесь он, не зная меры, не предлагал оценивать игроков не по количеству набранных очков, а по красоте продемонстрированных идей. Презрительно говоря о «рационалистах», как он называл гроссмейстеров, опережавших его в турнирах, он превозносил творческих игроков, к коим причислял себя. И над всем, что делал или предлагал Эдик, неизменно висело облако личной выгоды.

Гуфельд написал массу книг - сорок семь, как подсчитал кто-то. Но не надо обманываться: у него всегда были литературные негры, фактически и являвшиеся авторами его книг; сам он писать не любил, предпочитая устное творчество. Геллер после проигрыша Корчному второй партии четвертьфинального матча (1969) сказал своему секунданту Гуфельду в ответ на упреки, что встретившийся вариант указан еще в его книге: «Твоих книг, Эдик, я не читаю». А в другой раз заявил в сердцах: «Что касается теории, то ты знаешь только вариант дракона, да и вариант-то, прямо скажем, некорректный...»

Не уверен, знал ли Гуфельд слова поэта о вдохновении, которое нельзя продать, и о рукописи, которая продается, но свою продукцию он обычно старался сбыть сразу в несколько изданий. В старое время статьи и комментарии к партиям писались им под копирку, второй экземпляр поэтому был плохо читаем, не говоря уже о третьем или четвертом. Появление ксерокса стало лучшим благом для Гуфельда. Не знаю, вышли ли его книги по-китайски, но после визита в Китай Эдик с гордостью показывал статью в газете, которую всегда возил с собой, с крупным заголовком, набранным иероглифами, который тут же сам и переводил: «Гуфельд открыл китайцам глаза на шахматы».

Правда у него часто перемежалась с выдумкой, и «не было, но могло быть» являлось важной составляющей его рассказов. «Скажи, - спрашивал Эдик у мастера Куинджи, — у тебя такая редкая фамилия, ты ведь приходишься родственником известному художнику?» — «Да нет, — отвечал москвич, — просто однофамилец». «Жалко. — вздыхал Гуфельд. — Да я написал уже, что ты в родстве с ним; ничего не поделаешь, придется уж так оставить...»

Жанровая сценка тех лет: Петросян, любивший захаживать в ЦШК, играет блиц с Антошиным, работавшим тогда тренером сборной. Появляется возбужденный Гуфельд с книжкой в руках. Это его «Вариант дракона». Эмоции переполняют Эдика, он едва может дождаться конца партии. «Вот, Тигран Вартанович, с пылу, с жару, свеженькая — лучшая книга, вышедшая за последнее время! Это бестселлер, бестселлер, у меня уже есть заказы из-за границы! Это вам, она займет достойное место в вашей библиотеке, она...» Петросян слушает, не прерывая, и, воспользовавшись паузой в словесном водопаде, смотря на Гуфельда снизу вверх, холодно произносит: «Эдик, ты что-то перепутал, у меня все-таки библиотека, а не макулатурная палатка...»

Гуфельд не любил долго сидеть над материалом и мог создать книгу в несколько дней (при помощи ножниц и клея) задолго до наступления компьютерной эры. Даже сборник его лучших партий «My life in chess», изданный в Америке и получивший хорошие отзывы, является почти дословным переводом книги «Эдуард Гуфельд», вышедшей в Советском Союзе в 1985 году и наполовину написанной киевским журналистом Теплицким. Издавая книгу под собственным именем, Эдик просто заменил третье лицо на первое. Выбросив несколько уже не отвечающих времени верноподданнических абзацев, он оставил для доверчивого западного читателя следующий: «Я очень горжусь пятью медалями, которые вручены мне от имени правительства. Среди них «10 лет безупречной службы» и «15 лет безупречной службы». Эти медали напоминают мне, что, находясь в рядах Советской Армии, я не только играл в шахматы, не

только обучал молодых шахматистов, но и честно нес нелегкую, но почетную службу. Конечно, лишь сочетание добросовестной службы и спортивных достижений принесло мне эти почетные награды. Они вдохновляли меня на дальнейшее совершенствование в шахматах...»

Эту книгу Гуфельд посвятил матери. Не оригинальное, но всегда трогательное посвящение. Но и здесь Эдик остался верен себе: не удержался от того, чтобы оптом проданный товар не продать еще и в розницу. Добрая половина глав и партий имеют отдельные посвящения. Не только выдающимся гроссмейстерам, с которыми Гуфельд встречался за шахматной доской, но и редактору книги, автору хвалебного вступления к ней, тем, кто писал его книги: Теплицкому, Стецко, Калиниченко, Несису, а также людям, которые были или могли еще оказаться полезными: Флоренсио Кампоманесу, Виктору Батуриному (дважды), Николаю Крогиусу, Дато Тану, Александру Чикваидзе (названному Давидом), Александру Рошалю, разного рода деятелям из Сингапура, Малайзии, Гонконга, Филиппин, чьи фамилии ничего не скажут рядовому любителю шахмат.

Когда я сорок с лишним лет назад впервые увидел Гуфельда, это был еще стройный, разве только чуть начинающий полнеть молодой человек яркой, броской красоты. В тех нескольких партиях блиц, что мы сыграли, Эдик, делая рокировку белыми, ставил одновременно ладью на e1, а черными в голландской защите со стуком переводил ферзя на b5 прямо с d8, чтобы не терять темпы в атаке.

Конечно, в турнирных партиях Гуфельд не мог пользоваться подобными приемами, зато у него был целый арсенал других. Так, двигая в эндшпиле проходную пешку, Эдик нередко демонстративным движением выхватывал стоявшего рядом с доской ферзя, хотя до поля превращения оставался еще длинный путь. В те времена, когда партии еще откладывались, он мог написать на бланке «сдаюсь» и не прийти на доигрывание. А однажды в Вильнюсе Гуфельд, уже идя на доигрывание и обнаружив, что записанный им ход форсированно проигрывает, ворвался в турнирный зал и, выхватив из рук судьи конверт, вскрыл его и... съел бланк партии, похоронив в себе тайну записанного хода!

Очень часто он предлагал ничью, когда шли его часы. Если соперник говорил: «Сделайте, пожалуйста, ход», — Эдик мог ответить: «По международным правилам — не обязан». Что, разумеется, не соответствовало действительности. Однажды он таким манером предложил ничью мастеру Подгайцу. Тот попросил Гуфельда сделать ход, чем вызвал неудовольствие Эдика. Ход он все-таки сделал, но когда Подгаец, подумав, согласился разойтись миром, заявил: «Теперь уж ты сделай ход». — «Да, но ведь ты предложил ничью?» — «А кто это слышал?» — холодно ответил Гуфельд. Одна из глав его книги называется: «А кто видел? Кто слышал? Кто сказал?» Хотя он описывает в ней случай из собственной молодости, где сам был потерпевшим, но учеником он оказался очень способным, и выражения эти слышали многие, игравшие с Гуфельдом.

Вспоминая одну из партий с молодым Штейном, он писал: «Перед тем как сделать выигрывающий ход, я спросил: "Лёня, хочешь ничью?" - "Да, конечно", - ответил мой соперник, в ответ на что я сказал: "А я - нет!"»

Он нередко отпускал замечания во время игры. Иногда, как в этом случае, казавшиеся ему остроумными, но нередко говорил и что-то неприятное или обидное. Не случайно поэтому, играя с Гуфельдом, каждый соперник, кроме именитых, по отношению к которым он не осмеливался на подобные трюки, должен был быть все время настороже, особенно в цейтноте, и многие не раз просили судью держаться в конце партии поближе к их столику. «Ничья», —

услышал от Гуфельда мастер Бегун. «Это оценка позиции или предложение?» - на всякий случай уточнил он. Даже сборник партий Гуфельда открывается такой, где противнику было разрешено взять ход назад, с тем чтобы наказать его после того, как он избрал другое, «лучшее» продолжение.

В матче Голландия — СССР на студенческом первенстве мира в Хельсинки (1961) решающей оказалась партия Йонгсма — Гуфельд. Силы были явно неравны: наигранному профессионалу противостоял чистый любитель, хотя и с острым тактическим зрением. Леке Йонгсма разыграл один из своих любимых дебютов: на первом ходу он вывел ферзевого коня, а на втором — королевского. Гуфельд получил хорошую позицию, но при выходе из дебюта сделал неосмотрительный ход ферзем на а5, который мог повести к немедленному поражению. Игравший за соседним столиком Франс Куйперс, увидев сделанный Гуфельдом ход, пошел разыскивать гулявшего где-то товарища по команде, чтобы сообщить ему о щедром подарке. Не нужно было обладать острым тактическим зрением, чтобы увидеть очевидный выпад белого коня, сразу заканчивающий борьбу. Когда Йонгсма подошел к доске, чтобы сделать ход и принять поздравления, он увидел, что соперник сидит, обхватив голову руками, а черный ферзь стоит на совсем другом поле. Партия закончилась в конце концов победой Гуфельда.

С тех пор при встречах с Йонгсмой Эдик был с ним особенно приветлив: «Мой дорогой голландский друг, я так рад тебя видеть, какие новости в самой шахматной стране Европы?» Однако на настойчивые просьбы честно признаться в содеянном отвечал, улыбаясь, что просто не понимает, о чем идет речь. Гуфельд не был бы Гуфельдом, если бы не опубликовал впоследствии сразу в нескольких журналах статью, включающую подобный эпизод (позиция была изменена), где он был уже потерпевшей стороной, играя в каком-то прибалтийском турнире.

Двадцать лет спустя, на Олимпиаде в Салониках, Йонгсма снова повстречал Гуфельда, как всегда дружески бросившегося ему навстречу. В свободный от игры день голландец пригласил Эдика в ресторан. Качество еды было превосходным, вино лилось рекой, и, когда старые бойцы приступили к десерту, растроганный Гуфельд сказал со вздохом: «Ты знаешь, Леке, я вдруг вспомнил: тогда в Хельсинки я действительно пошел ферзем на а5...»

Говоря о первенстве Советского Союза 1961 года, являвшемся отборочным к межзональному турниру, Корчной вспоминает: «В итоговой статье Гольдберг писал, что один из участников был предупрежден о недопустимости проигрыша нарочно и что, несмотря на это предупреждение, после сдачи одной партии в его глазах сверкала радость поражения. Гольдберг имел в виду партию Гуфельда со своим патроном Геллером, которому он проигрывал не раз подобным образом».

Перед сдачей партии Гуфельд иногда использовал последний шанс: он ставил фигуру — как правило, ферзя или ладью — на незащищенное поле в расчете на то, что противник не заметит этого, и тогда он следующим ходом сам заберет у него ферзя или объявит мат. Для усиления эффекта иной раз громко кричал: «Шах!» Прием мог оказаться эффективным, особенно в цейтноте, когда появлялся шанс, что соперник сделает инстинктивный ход королем.

Понятия Элика о морали были довольно просты и полностью вписывались в представления о ней какого-нибудь африканского вождя: если я уведу жен и стадо коров у вождя соседнего племени - это хорошо, если он сделает то же самое со мной - это плохо.

В шахматах существовало несколько Гуфельдов. Один — в общении с западными

журналистами и могущими быть полезными коллегами. Другой - при контактах с шахматным начальством, от которого зависела посылка его на заграничные турниры. Третий — в общении с элитными гроссмейстерами, которые отмечали такие его черты, как «общительность, остроумие, доброжелательность» (Таль). Всё поведение Гуфельда с ними разительно отличалось от его отношений со «своими» или с теми, кто стоял, по его мнению, ступенькой ниже на иерархической шахматной лестнице. В этом случае он настраивал себя на борьбу на всех фронтах. По натуре Эдик был трусоват, и психологический допинг был ему просто необходим. «Я ему встрою, я ему врежу сегодня, он узнает, что значит - играть с Гуфельдом», — взбадривал он себя перед партией. Встретив своего противника за завтраком в гостинице, мог демонстративно отвернуться и не поздороваться, приводя себя еще до игры в состояние полной боевой готовности.

Играя в чемпионате Украины или полуфинале первенства страны с соперником, который, опять же на его взгляд, был ниже по классу игры, Эдик мог громко говорить кому-то, прогуливаясь, пока партнер думал над ходом, так, чтобы тот слышал: «Играет, как перворазрядник, не более...» Мог применить и более сильный лексикон, мог после проигрыша не подать руки, даже оскорбить. В 1979 году в Бельцах, он, сдавая партию Семену Палатнику, встал и, обращаясь к залу, громогласно заявил: «Я не подаю руки другу изменника Родины!», имея в виду Льва Альбурта, тоже, как и Палатник, одессита, незадолго до этого попросившего политического убежища в Германии.

На турнире в Овьедо (1992) Гуфельд в партии с Дорфманом сделал несколько ходов подряд, не записывая, на что обратил внимание его соперник. «Судья, — на весь зал закричат Гуфельд, — на помощь! Мое правительство выслало во Францию этого известного скандалиста...»

В молодости у Эдика была кличка Босяк. Когда в 1957 году его призвали в армию, то вскоре в часть, где он служил, пришла телефонограмма о командировании Гуфельда на первенство Украины. Увидев Эдика в турнирном зале в военной форме, удивленные приятели воскликнули: «Братцы, Босяк явился». Когда Гуфельд парировал: «Не босяк, а защитник Отечества», - те дружно воскликнули: «Отечество в опасности!»

Четверть века назад в Нью-Йорке умер Яков Юхтман, как и Гуфельд, выигравший у Таля в чемпионате СССР 1959 года. Они были в чем-то похожи: манерой поведения, разговора, отношением к жизни. Но была и разница. Если Юхтман держался подальше от начальства, был нелюбим им, никак не принимал, пусть даже внешне, правила игры и перед отъездом на Запад даже подвергся дисквалификации, то Гуфельд был босяком рафинированным, понимающим, как действуют рычаги власти и от кого зависят жизненные блага и зарубежные поездки, до коих он был так охоч.

В некрологах, появившихся в западной прессе сразу после его смерти, можно прочесть, что тайну — был ли он сотрудником КГБ — Гуфельд унес с собой в могилу. Патетические слова. Для тех, кто жил в то сказочное время, факт, что Эдик регулярно выезжал за границу, когда и один, да еще в капстраны, говорит о многом. Но дело, конечно, не в том, хранятся ли еще где-нибудь в архивах этой организации отчеты, подписанные его именем. Те, кто давал ему добро на поездки, прекрасно знали, что Эдуард Ефимович Гуфельд, дабы оправдать оказанное доверие, может выполнить любое поручение.

В 1980 году на Олимпиаде в Люцерне Гуфельд успокаивал интересующихся судьбой Ашхарумовой и Гулько, уже в течение полутора лет не получающих разрешения на эмиграцию: «Да что вы так волнуетесь, разрешение уже получено, их выезд - дело нескольких дней». Только

спустя пять лет им удалось покинуть страну.

Он открыто общался с невозвращенцами Корчным и Альбуртом в те жесткие, насквозь пропитанные политикой времена. Корчной вспоминает, как на командном чемпионате мира в Люцерне (1985) Гуфельд заговаривал с ним: «Ну, чего ты уехал? Зачем ты это сделал? Для чего? Ты можешь это сказать?» А Альбурту на Олимпиаде в Салониках годом раньше прямо говорил: «Не ровен час, всё может случиться, здесь ведь и граница болгарская недалеко, да и родители твои просили передать, чтобы ты получше думал, прежде чем что-то сказать или сделать...»

Немалую часть жизни Эдик провел за карточным столом. Карты были почти единственным развлечением в то далекое уже время, когда турниры длились неделями, и многие участники собирались каждый вечер в гостиничном номере, где игра в невообразимых клубах сигаретного дыма затягивалась зачастую до серого рассвета, а когда и до начала следующего тура. Владимир Тукмаков вспоминает: «Сам я играл редко, но любил наблюдать за игрой. Участие в ней Гуфельда сопровождалось безудержным звоном, когда и оскорблениями, и почти всегда заканчивалось скандалом. Он не был игроком высокого класса, а при проигрыше никогда не расплачивался сразу, стремясь оттянуть так нелюбимую им процедуру отдачи денег».

Для достижения выигрыша Эдиком могли использоваться любые способы. Это Гуфельду принадлежит выражение, что в карты начинают играть каждый за себя, потом игра идет двое на двое, а кончается всё сражением трое против одного. Он прекрасно знал термины «зарядить», «дать маяка», «сделать вольт», «врулить динамо». Не было, казалось, игры, в которую бы не играл Гуфельд, но одной из самых любимых была бура - довольно простая игра, где многое основано на везении, и искусство Эдика «на всякий случай» иметь лишнюю карту, зажатую в его огромном кулаке, не всегда сходило ему с рук. Случалось, эта карта обнаруживалась соперниками по игре, бывало и наоборот. Такие приемы входили в «большой джентльменский набор», и нередко после выяснения отношений бойцы как ни в чем не бывало продолжали игру.

Всюду, где появлялся Гуфельд, слышались его голос, шутки, смех. Что и говорить, Эдик не принадлежал к поклонникам Конфуция, утверждавшего, что чем меньше нужно слов, чтобы выразить свою мысль, тем лучше. Он имел репутацию весельчака и остроумца. Действительно, он постоянно балагурил, рассказывал байки и анекдоты. Но странное дело, его шутки, сообщаемые приклатненным говорком, высоким характерным голосом, почти всегда с дерганьем собеседника за рукав, начинали надоедать, а потом и раздражать. Почти каждая его фраза включала в себя личное местоимение в первом лице единственного числа. «Нет, ты послушай, что я придумал...»

Его юмор редко был добродушным, в нем напрочь отсутствовала самоирония, если, конечно, не считать дежурной шутки: «Это было еще сорок килограммов тому назад». Или вопроса: «Какой у тебя рейтинг?» — и независимо от ответа: «А у меня двадцать два сантиметра», хотя в последнем случае имел место очередной случай саморекламы.

Еще в молодые киевские годы мог обзвонить родственников, включая живущих на другом берегу Днепра, с просьбой немедленно приехать к дяде Миле, у которого начался пожар. Недоумевающий дядя Миля встречал многочисленную родню, не понимая, чем обязан столь неожиданному знаку внимания. Человека, первым откликнувшегося на его смерть прочувствованным некрологом, он называл за глаза Дворнякович или Говнюкович, в зависимости от настроения.

Что и говорить, юмор Гуфельда был на любителя (и были любители), но почти всегда в его рассказах содержались элементы подковырки, подкола, когда и на грани оскорбления, когда и переходящие такую грань. Но в этом пошлом, плоском потоке попадались иногда и искорки, особенно сверкавшие на фоне того фантазмагорического времени.

Олимпиада в Ницце, 1974 год. Лазурный берег. Автобус с советскими туристами, пару дней назад прилетевшими из Москвы, движется по автостраде, вьющейся вдоль берега моря. Солнце и пальмы, фешенебельные отели, теннисные корты. Кто-то робко спрашивает: «Это уже Монте-Карло?» В тот же миг слышится характерный голос Гуфельда: «Нет, это еще "Монте-Карло — Сортировочная"!»

Другая Олимпиада, снова вождеденная капстрана, снова советские туристы, только что получившие от организаторов сумку с сувенирами. «Да-а, о такой ручке я давно мечтал!» — восхищенно восклицает Гуфельд. Мелькание рук - глубже, глубже, и хор разочарованных голосов: «А у меня нет, мне не положили...»

В полуфинале первенства страны один гроссмейстер, равнодушный к стаканчику, проиграл совершенно выигранную, по мнению Гуфельда, позицию. «Текст этой партии, — заявил Эдик после ее окончания, — надо вывесить во всех вытрезвителях Советского Союза!»

Любил заключать пари, любил розыгрыши, мог быть и обаятельным и милым по-своему, и даже сердечным с теми, к кому был расположен, при условии, конечно, что эти люди никоим образом не затрагивали его жизненных интересов.

Те, кто близко знал Гуфельда, знали и несколько страстей, от которых он не избавился до конца жизни. Одной из таких страстей была купля-продажа.

Вячеслав Эйнгорн не видел Гуфельда несколько лет и неожиданно столкнулся с ним нос к носу в самом центре Белграда. «Так, — сказал ему Эдик вместо приветствия, — пойдешь прямо, потом вторая улица направо, там за углом обувной магазин, скажи, что от меня, получишь скидку, советую взять сразу несколько пар...» И пошел своей дорогой.

На кожевенной фабрике в Севилье группе шахматистов предложили после экскурсии купить товар по сниженным ценам. Гуфельд и здесь потребовал скидку, объяснив простодушно: «Понимаете, я иначе не могу: я никогда в жизни не покупал вещи по стоимости, указанной на ярлыке».

Как-то в Дубае, зайдя в очень дорогой магазин, стал рассматривать ремни, надел даже один, взял в руки другой, потом заговорил, как водится, о скидке. «Если вы купите первый ремень, на который я даю вам пятьдесят процентов скидки, второй можете взять бесплатно», — сказал хозяин магазина. «В таком случае я забираю второй, а о покупке первого еще подумаю», — согласился Эдик, описывая эту историю потом в различных журналах и всякий раз ее по-разному аранжируя.

На Олимпиаде в Маниле в 1992 году он заметил, что я расплачиваюсь за какие-то сувениры в магазинчике неподалеку от гостиницы. «Остановите его, он - сумасшедший! — закричат Эдик, ринувшись ко мне. — Всё положи назад, это преступление покупать что-либо здесь, у тебя что, не все дома?»

«He is joking», — сказал он опешившему продавцу и, вырвав у него деньги из рук, ушек меня за собой. Дорогой, явно ему хорошо знакомой, мы пришли на базар. Шум, зазывные крики

продавцов. Эдик, не обращая на них никакого внимания, шествовал в дальний конец базара. Был жаркий день, и пот лил с него ручьями. Наконец он остановился у смуглого человека в рваных шортах, с лицом, изрытым оспой, и прекрасными белыми зубами, которого сердечно приветствовал. Судя по всему, тот тоже видел Гуфельда не в первый раз.

Джонни, - сказал Эдик, - этот молодой человек (тут он показал на меня) хочет купить подставку из морских ракушек.

Конечно, - сказал Джонни одобрительно, — вот замечательная. Very good.

И сколько ты хочешь за нее, my friend?

- вкрадчиво поинтересовался Эдик, даже не взглянув на подставку.

Восемьдесят, — отвечал продавец сувениров.

Что, восемьдесят? — не понял, Эдик. — Восемьдесят за весь набор?

- он показал на десяток подставок, лежащих стопкой на прилавке. Джонни засмеялся. Засмеялся и Эдик. Они почти обнялись и стали похлопывать друг друга по спине.

Дай нам настоящую цену, и мой юный друг, — здесь Эдик снова показал на меня, - возьмет весь набор.

Но мне не нужны десять подставок, Эдик, — сказал я.

Это уж не твое дело, — оборвал меня Гуфельд. — Предоставь всё мне. Ты получишь свою подставку.

Триста пятьдесят за все, - произнес Джонни и сделал жест, означавший, что он готов упаковать покупку.

My dear friend, — снова сказал Гуфельд, — ты же видишь, мы не туристы, будь серьезным, не глупи, мы хотим купить твои подставки. Я даю тебе сто двадцать за все десять. Прямо сейчас. Наличными, — при этих словах Эдик достал туго набитый кошелек и начал отстегивать кнопку.

Триста, — закричал продавец.

- Я продаю себе в убыток! Ты убиваешь меня, — резким движением он провел рукой по горлу.

Весь разговор велся на английском, если можно было так назвать те несколько слов, главным образом числительных, и коротких восклицаний типа «my dear friend», «you are crazy», «be serious», «give me a real price», «let go — he is joking», употребляемых Гуфельдом, «you are killing me», «no way», повторяемых продавцом, и «this is my last price», произносимых время от времени обоими.

Пойдем, Генна, я думал, что мы имеем дело с коммерсантом, а нам попался жалкий жмот, - удрученно сказал Эдик на смеси языков и взял меня за локоть. — Джонни, ты видишь, я пошел на попятную, дай и ты настоящую цену!

- в голосе Эдика звучали примирительные нотки. Продавцы за соседними лотками подошли поближе и молча наблюдали за толстым, обливающимся потом и энергично жестикулирующим смешным человеком.

Эдик, дай ему то, что он просит, пойдем отсюда.

Мой робкий лепет не встретил у него никакого понимания. «Ты просто фраер, - Эдик презрительно взглянул на меня. — Он уже мой!»

- Хорошо, — торжественно произнес Гуфельд, снова обращаясь к продавцу, - слушай меня внимательно. Сегодня твой день. Моя последняя цена - сто пятьдесят. И, — здесь Эдик поднял кверху указательный палец, — my dear friend, ты получаешь к тому же от меня царский подарок, прими мои поздравления!

Эдик вынул из сумки и положил на прилавок значок с эмблемой Олимпийских игр в Москве двенадцатилетней давности: «Поверь мне, this is — specially for you»

Двести пятьдесят, - с отвращением произнес продавец, рассматривая, впрочем, с интересом изображение медведя на эмали.

По рукам, - сказал Эдик. — Ни нашим, ни вашим - сто семьдесят пять.

Сто девяносто, — уныло сказал Джонни.

Сто восемьдесят, ты победил меня, — вздохнул Эдик и протянул руку ошалевшему продавцу. — Кстати, ты не мог бы заменить первую подставку - мне не очень нравится цвет этой ракушки. И уж заодно упаковать каждую подставку отдельно: моему юному другу предстоит длинный путь...

Где бы я ни встречал Гуфельда — в Севилье, Салониках, Куала-Лумпуре или Маниле, его гостиничный номер выглядел одинаково. Повсюду — на кровати, столе, кресле, телевизоре — лежали стопки книг, большей частью его собственных, предназначенных для продажи. Здесь же находились и разной степени готовности статьи, писавшиеся Эдиком обычно по ночам во время турниров или привезенные с собой из Союза, которые он в спешке не успел закончить.

Вторая кровать была обычно завалена матрешками, матерчатыми бабами, надеваемыми на чайник, дабы сохранить в нем подольше тепло, шкатулками, разрисованными «под Палех», огромными картонами с наколотыми на них сотнями значков: никогда не знаешь, когда пригодится такая безделица; стоит она - ничего, а для члена шахматной федерации какой-нибудь страны либо просто продавца в магазине или официанта в ресторане такой презент может оказаться весьма кстати. По всему номеру валялись бумаги самого различного содержания: визитные карточки функционеров ФИДЕ, переписка с президентом федерации экзотической азиатской страны, записанные на клочках телефоны, владельцев которых Эдик и сам не всегда держал в памяти, бланки партий, выдвинутых на приз за красоту и представленных ему как главе комиссии «Искусство в шахматах». Тут же и магнитная доска с позицией из партии какого-нибудь женского матча. Помню, на той Олимпиаде Эдик подрядился помогать девочке из команды Бангладеш; деньги, конечно, небольшие, однако если перевести доллары на рубли, то как сказать: одно занятие было эквивалентно двум месячным зарплатам советского инженера.

Рядом с минибаром можно было обнаружить целую батарею бутылочек и баночек, извлеченных оттуда Гуфельдом и замененных припасами, прихваченными с завтрака, которыми он время от времени подкреплялся. На столике у кровати лежали обернутая в недельной свежести газету «Советский спорт» бутылка «Столичной», электронагреватель, недопитый стакан чая, термометр, таблетки в самой разнообразной упаковке — с некоторых

пор у Эдика появились хвори, и он брал с собой пилюли на все случаи жизни.

Рядом возвышалась стопка визиток самого Эдика, где с двух сторон — по-русски и по-английски - особым тиснением были обозначены все звания владельца. Набраны они были очень мелким шрифтом, иначе просто не поместились бы. Длинный перечень выглядел так: Международный гроссмейстер, Заслуженный тренер СССР и Грузинской ССР, член Союза советских журналистов, тренер сборной команды СССР, член Международной ассоциации журналистов, пишущих на шахматные темы, председатель комиссии ФИДЕ «Искусство в шахматах». Отдельной стопочкой лежали визитные карточки с диаграммой из его «Джоконды».

Эдуард Гуфельд был коммивояжером от шахмат и, для того чтобы показать товар лицом, полагал, что для него требуется глянцевая упаковка. Он продавал свой товар с вдохновением, и недаром глава одной фирмы уже после переезда Эдика в Америку писал ему: «Вы являетесь не только гроссмейстером шахмат, но также и Большим Мастером по продаже игры рядовым любителям. Если бы вы работали в моем бизнесе, я присвоил бы вам степень "Продавца Высшего Разряда"».

Вдобавок Эдик был мастером лоббизма, причем еще тогда, когда это понятие употреблялось в советской прессе исключительно в сочетании: «лоббисты Белого дома, заинтересованные в гонке вооружений». Вот только предметом его лоббизма был он сам. В нем так и кипела избыточная энергия, которая не могла быть сполна реализована в стране, где он прожил почти всю свою жизнь.

На одной из Олимпиад прекрасно выступала женская команда Индии, за которую играли сестры Кадилкар. «А ну-ка покажите секрет своего успеха», — спрашивал у них Эдик, помогавший тогда девушкам. Застенчиво улыбаясь, те доставали и показывали значки с изображением Гуфельда...

Редкое зрелище являл собой Эдик в ресторане. Помню один его завтрак в пятизвездочной гостинице во время Олимпиады в Маниле. Он появился в зале с полиэтиленовым пакетом, в который складывал провиант со шведского стола, чтобы унести с собой; пока же в нем лежала книжка его избранных партий: никогда не знаешь, с кем столкнешься во время соревнования, где участвуют команды почти всех стран мира.

Шесть стаканов сока Эдик выпил один за другим в качестве разминки. Затем он выбрал две тарелки побольше, нагружая их всем, что попадалось ему на глаза: фруктами, вяленой рыбой, шампиньонами и яичницей, яйцами вкрутую, картофельными лепешками, ветчиной, сыром и множеством других произведений кулинарного искусства, названий которых я не знал. Чашка с супом — нередко встречающееся блюдо за завтраком в азиатских странах — тоже, конечно, не была забыта. Потом он занял свободный столик неподалеку от стола, уставленного всевозможными блюдами, чтобы контролировать поле боя, - и принялся за еду.

«Tea or coffee, sir?» — спросил его подошедший официант. «CotTee, my friend, coffee, — ответил Эдик с набитым ртом. И, спешно проглотив, крикнул ему вслед: — And tea as well!»

В бытность свою в Советском Союзе Эдик вел себя в ресторане более скромно, хотя и там старался сразу захватить инициативу: сделав заказ, он мог с милой улыбкой, еще не притронувшись к еде, попросить принести жалобную книгу, чего работники общепита боялись как огня. Либо же, вызвав директора, осведомиться: «У вас в меню выход бифштекса обозначен ста пятьюдесятью граммами. А я вот взвесил, — здесь Эдик показывал на стоявшие рядом

весы, которые, он, как выяснилось, захватил с собой, — оказалось только девяносто восемь. Это как же понимать?» И продолжал уже на профессиональном языке: «А гарнир, значит, у вас сложный? А капуста, значит, белокочанная?..»

В начале 60-х годов в стране, особенно в провинции, случались трудности с продуктами. Приехав в Челябинск на полуфинал чемпионата страны, Эдик сразу же отправился на базар и, купив там мешок картошки, отнес его прямо на кухню ресторана гостиницы, где питались участники. «Теперь вы будете жарить мне каждый день большую сковороду картошки», — заявил он опешившим поварам.

Иногда, поражая официантов, Гуфельд заказывал всё меню. «Как всё?» - переспрашивали его. «Вот всё, что у вас есть, и принесите», — здесь Эдик проводил рукой по листу сверху вниз. Чтобы у читателя не создалось превратного впечатления, поясню, что речь идет о столовых и кафе советского времени, когда список всех блюд, включая десерт, мог легко уместиться на двух, а то и на одном листочке.

В белградской гостинице, где во время матча СССР — Югославия жили советские участники, у них был открытый счет. Гуфельд, заказывая длинный перечень всевозможных салатов, говорил обычно: «Молим, укупно» (всё вместе, пожалуйста), чем поначалу приводил в замешательство даже видавших виды официантов.

«На тех же условиях, что и Гуфельд». — сказал Тайманов, когда ему в Сингапуре предложили дать сеанс одновременной игры. Он знал, что за несколько месяцев до него здесь побывал Гуфельд, и решил, что Эдик уж никак не мог обидеть себя, обговаривая с организаторами гонорар. «Нет, только не это! — в ужасе отвечали они. — Ваш коллега, правда, не запросил никакого гонорара, ограничившись гостиницей и питанием, но раз очутившись в ресторане, он ел до глубокой, ночи без остановки...»

Сам Эдик относился к этой своей страсти достаточно философски и даже не пытался с ней бороться. «Я теперь на диете, — нередко говорил он. — За обедом я совершенно отказался от первого блюда. Зато съедаю пять вторых...»

Из бесконечной устной эпопеи о раблезианских подвигах Гуфельда можно извлечь еще немало рассказов. Но кто знает, может быть, за огромным, в конце жизни весившим 130 килограммов человеком скрывался худенький, вечно голодный киевский мальчишка, дорвавшийся наконец до еды и, начавши раз есть, так и не смогший остановиться?

Еще Кант знал, что кроме тоски по родине человеку присущ и другой недуг — тоска по чужбине; но у советских людей этот недуг был развит в гипертрофированном виде. Был он, конечно, и у Гуфельда. Он всю жизнь гонялся за лучшей жизнью: Украина, Грузия, многочисленные поездки во все, часто очень отдаленные уголки земного шара, наконец, Америка.

Но в отличие от многих, смотревших на зарубежье глазами Остапа Бендера: «Заграница — это миф о загробной жизни; кто туда попал -обратно не возвращается», - для Гуфельда выезд за границу означал только временный, но такой приятный выгул на сочных заливных лугах. Лугах, на которых пасутся стада наивных откормленных коров, которых нужно доить и доить; и здесь его отношение к иностранцам было схоже с отношением великого комбинатора, продавшего американцам, встреченным где-то в российской глубинке, за двести рублей рецепт пшеничного самогона. И так же как американцы восторженно повторяли за Остапом слово

«pervatsch»), которое им приходилось уже слышать в Чикаго и о котором они имели прекрасные отзывы, — их потомки, любители шахмат, с восхищением внимали на лекциях Эдика в Лос-Анджелесе скалькулированным им — для лучшего усвоения материала — расценкам пешек для дебюта и миттельшпиля: «e» и «d» - доллар, «c» и «b» — 90 центов, «f» и «g» - 80, «a» и «h» - 70 центов.

Сказать, что он не любил Каиссу, было бы неверно, но в не меньшей степени он любил Маммону, хотя и не знал, что делать с ее дарами. Уже перевалив за шестьдесят, он сокрушался, когда слышал или читал о сеансах одновременной игры на сотнях досках, длящихся сутками: «Эх, жаль, что у меня возраст уже не тот. Мировой рекорд, значит?.. Да килограммов бы пятьдесят назад я бы им такое шоу за двадцать тысяч устроил, закачались бы!»

Несколько лет назад он тяжело заболел и провел несколько месяцев в больнице. «Знаешь, — позвонил он мне, выздоровев, — я едва не умер. Я долго думал и решил: кому всё это надо, не в деньгах счастье, надо жить сегодняшним днем, здоровье — главное. Ну что я суечусь все время, зачем это, к чему...» Я внимательно слушал эти, совершенно невероятные для него слова, хотя и являющиеся обычной реакцией всех, кто впервые с глазу на глаз столкнулся со смертью. Надо ли говорить, что Эдик вскоре вернулся к старому образу жизни, снова став тем Гуфельдом, выйти из которого он так и не смог.

Он так и не понял, что дверь к счастью открывается вовнутрь, а самое большое удовлетворение, какое могут принести выигранные им замечательные партии, он уже испытал, создавая их. Ощувив удивительное состояние, как бы ни называли его — интуицией, озарением или, как в науке сегодняшнего дня, закодированными в генах качествами, проявившимися у индивидуума при данных обстоятельствах.

В нем сочетались черты многих героев романа Ильфа и Петрова: Шуры Балаганова, получившего свои пятьдесят тысяч, но польстившегося-таки в трамвае на грошовую дамскую сумочку, Паниковского, говорившего тому же Шуре: «Обязательно поезжайте в Киев. Поезжайте в Киев и спросите, что делал Паниковский до революции» и твердившего постоянно: «Я хочу есть, я хочу гуся». Были черты даже бухгалтера Берлаги, симулировавшего сумасшествие в психиатрической лечебнице: «Я вице-король Индии! Отдайте мне любимого слона».

Но, конечно, больше всего в нем проступал Остап Бендер. Вслед за ним Эдик мог сказать: «Я, конечно, не херувим. У меня нет крыльев, но я чту Уголовный кодекс. Это моя слабость. Я не налетчик, а идейный борец за денежные знаки». Акушерский саквояж, в котором у Остапа хранились различные вещи, мог принадлежать и Эдику. В этом саквояже среди прочих полезных вещей, как-то: нарукавной повязки, на которой золотом было вышито слово «Распорядитель», милицейской фуражки с гербом города Киева, четырех колод карт с одинаковой рубашкой находилась и афиша, удивительным образом содержащая в себе вехи из биографии самого Эдика. На афише было написано:

ПРИЕХАЛ ЖРЕЦ

(Знаменитый бомбейский брамин — йог)

— сын Крепыша —

Любимец Рабиндраната Тагора

ИОКАЯАН МАРУСИДЗЕ

(Заслуженный артист союзных республик)

Номера по опыту Шерлока Холмса.

Индийский факир. — Курочка-невидимка. —

Свечи с Атлантиды. — Адская палатка. —

Пророк Самуил отвечает на вопросы публики. —

Материализация духов

и раздача слонов.

«Я хочу уехать, товарищ Шура, уехать очень далеко, в Рио-де-Жанейро, — не раз говорил Остап. — Я с детства хочу в Рио-де-Жанейро. У меня с советской властью возникли за последний год серьезнейшие разногласия». У Эдика в отличие от потомка янычар разногласий с советской властью не возникало. Более того, распад Советского Союза Гуфельд воспринял как личную трагедию: он мог нормально функционировать только в той системе ценностей и отношений, которые существовали в исчезнувшей теперь империи.

Некоторое время он скитался, живя подолгу то здесь, то там, пока в 1995 году не осел в Соединенных Штатах. Он был похож на Вечного Жида из остаповского рассказа: «Лет полтора он прожил в Индии, необыкновенно поражая йогов своей живучестью и сварливым характером. Одним словом, старик мог бы порассказать много интересного, если бы к концу каждого столетия писал мемуары. Но Вечный Жид был неграмотен и к тому же имел дырявую память». Правда, в отличие от героя Бендера, никогда не бывавшего на Днепре и нашедшего там свою смерть в 1919 году, Эдик не раз возвращался в свой Киев — как и все киевляне, он с пристрастием любил свой город. Он скучал по стране, из которой уехал, обзванивая едва ли не каждый день своих знакомых не только в других городах Америки, но и в России, Украине, Грузии, Германии, Израиле — всюду, где жили бывшие соотечественники. «Слушай, — начинал он обычно и после предложения какого-нибудь проекта или ошеломляющей идеи, пришедшей ему в голову, говорил всегда грустные слова: — А помнишь...»

Иногда, разумеется, уже в постсоветское время, звонил и мне. Хотя интервалы между звонками могли составить пару лет, он не представлялся: «Привет, ты узнаешь, кто говорит?» Голос Гуфельда, очень высокий, с характерными интонациями, нельзя было перепутать. «Слушай, — переходил с места в карьер Эдик, — ты не можешь сказать в редакции журнала, что у меня есть сногшибательный материал? Рукопись уже готова, это будет бестселлер, бестселлер, какого они и не видали!» — «Белочка?» — спрашивал я. «Еще лучше. Только для вас». Неожиданно он резко менял пластинку: «Кстати, ты бывал когда-нибудь в Тасмании? Ты думаешь, они могут дать какие-нибудь условия? Цикл моих лекций я мог бы прочесть по телевидению, у них ведь должно быть телевидение, поверь мне, эти лекции уникальны...»

Переехав в Америку, Эдик не изменил своим привычкам: всюду, где бы он ни играл, облако скандала неизменно витаю нат его партиями, и многие залы, где проходили открытые турниры, слышали его возбужденный голос. Инцидентам в его партиях было несть числа, время от времени он раздражался в американской и русской прессе открытыми письмами по поводу того

или иного фоссмейстера или организатора турнира, обвиняя их во всевозможных грехах, вплоть до организации заговоров против него. В эти последние годы круг людей, с которыми конфликтовал Гуфельд, расширился, приобретя международную амплитуду. Он был Страстный борец, хотя далеко не всегда было понятно, за что; ясно было только, что его личные интересы стояли в этой борьбе отнюдь не на последнем месте.

В Америке ему на первых порах очень помогал Арнольд Денкер. Но на каком-то турнире ветеранов Гуфельд обвинил старейшего американского гроссмейстера в том, что кто-то из участников проиграл Денкеру нарочно, дабы вывести на первое место. Он мыслил категориями, к которым привык сам за свою долгую жизнь в шахматах; качества же, присущие ему в молодые годы — несдержанность, вспыльчивость, легко переходящая в грубость, хвастовство и бахвальство, отсутствие манер, — к старости, увы, не исчезли. В декабре 2001 года на турнире в Лас-Вегасе, одном из последних в своей карьере, Эдик, попав в критическое положение, включил кнопку sireны безопасности, находившуюся на стене как раз над головой соперника, который совершенно обезумел и потерял в условиях недостатка времени всякую ориентацию.

Он начал было вести рубрику в журнале «Chess life», но после двух публикаций редакция стала получать возмущенные письма читателей о том, что старые анекдоты, рассказываемые новым софуд-ником, оставляют странное впечатление, и от его услуг пришлось отказаться. Свой английский он называл Гуфельд-инглиш, объясняя этот смешной язык в своей обычной манере: «Better than your Russian». Конечно, он уже не делал рожек и не блял, как много лет назад, когда, будучи вместе с Тимманом в ресторане, пытался объяснить официанту слово «баранина», но упорно называл изолированную пешку «пешкой, которая не имеет друга», гордясь своей находкой и повторяя ее, как и большинство своих шуток, по многу раз.

Гуфельд продолжал играть в открытых турнирах до самого конца, хотя, без сомнения, понимал, что его шансы на успех минимальны. Отчасти это объяснялось не прошедшей любовью к игре, отчасти — призрачной мечтой получить какой-нибудь приз, но главным образом, как мне кажется, — атмосферой, царящей на любом шахматном турнире, атмосферой, к которой он привык с детства и без которой не мог жить. Даже если атмосфера эта была совсем иной, чем на полуфинале первенства Союза где-нибудь в Ивано-Франковске.

В какой-то момент его рейтинг опустился почти до отметки 2400; недостатки в игре, присущие ему и в лучшие годы, усилились, а проблемы со здоровьем и возраст лишь усугубили общую картину. Он не успевал следить за последними теоретическими новшествами, да и не мог уже: дебютные варианты, которые он играл еще в юношеском первенстве Украины, встречались у него на турнире в Лас-Вегасе ровно полвека спустя.

Отношение к молодым шахматистам и к современным шахматам было у него однозначным: «Да какой-нибудь Янкель Юхтман ему бы здесь так впендюрил, что он мама не успел бы сказать, я уж не говорю о Геллере. Да попадись он и мне в те годы, от него бы мокрого места не осталось - размазал бы по стенке». — говорил он обычно, когда речь заходила о ком-нибудь из молодых.

В последний период жизни в его «Академии шахмат Эдуарда Гуфельда» в Лос-Алtdжелесе. как помпезно именовались две небольшие комнаты, которые он арендовал на первом этаже дома, где жил сам, стоял старенький, купленный по случаю компьютер. В этих комнатах Эдик устраивал воскресные турниры по быстрым шахматам, сеансы одновременной игры, разбор сыгранных партий. Вел какие-то индивидуальные занятия и, конечно, продавал шахматную литературу, в первую очередь свои книги. Иногда выезжал к ученикам, вернее, его возили.

Машиной не обзавелся, учиться водить так и не собрался, да и не хотел. Постоянного помощника или компаньона не нашел, и через пару лет всё постепенно сошло на нет...

Как и большинству людей на склоне жизни, ему была свойственна тоска по молодости. В его случае прошлое означало не только ушедшую навсегда молодость, но и ушедшую навсегда атмосферу тех времен. Поэтому, когда умирали люди, с которыми он провел годы жизни на турнирах и сборах: Лутиков, Полугаевский, Геллер, Гипслис, Суэтин, Либерзон, - от него самого откалывались маленькие кусочки. «"Джоконда" осиротела», - сказал он, когда умер Багиров, не подозревая еще, что спустя два года она станет круглой сиротой.

Известно, что все мы сотканы из кусочков, и Эдуард Гуфельд не являлся исключением. В нем сочетались яркий, талантливый шахматист и беспринципный склочник, преданный тренер и делега, острослов и беззастенчивый хвастун, бойкий журналист, скорее даже сказитель и обжора, любящий сын и нечистый на руку карточный игрок, обаятельный человек и пошляк.

Пламмер-парк — место отдыха и контактов русскоязычной эмиграции Западного Голливуда, одного из районов компактного проживания выходцев из Советского Союза в Большом Лос-Анджелесе. Одну из зон в этом парке облюбовали любители настольных игр: шахмат, домино, карт, нард.

От авеню Лабреа, где в последние годы жил Гуфельд вместе со старушкой-матерью, до этого парка рукой подать — минут семь неспешного хода. Надо ли говорить, что Эдика здесь все знали и бывал он там часто, в последнее время практически ежедневно. Публика тут собирается разнообразная, атмосфера нередко накаляется и, бывает, дело кончается конфликтными разборками. Пару лет назад Эдик был жестоко бит за вмешательство в процесс карточной игры, и если бы не защита старого знакомца — кандидата в мастера из Харькова, отвезшего его, всего в синяках и кровоподтеках, домой, кто знает, чем могло бы всё кончиться.

Это случилось десятого сентября. Эдику стало плохо во время его любимой буры. Тем не менее он заявил: «Ничего страшного, будем продолжать играть...» Прямо из Пламмер-парка его отвезли в больницу Cedars-Sinai. Тяжелый инсульт.

Шестьдесят лет назад в Манхэттенском клубе Нью-Йорка Капабланке стало плохо тоже за карточным столом. Он умер, не приходя в сознание, в больнице Mount-Sinai. Какие аналогии провел бы сам Эдик с этим фактом? С этим названием? Мы никогда не узнаем этого. Потому что этого не произойдет. Ничего больше не произойдет. Останется несколько блестящих партий и образ — звонкого, неординарного, очень противоречивого человека, чувствовавшего себя, как рыба в воде, в удивительном, навсегда ушедшем государстве.

Последние два дня он был в коме. Что виделось ему тогда, какой свет в конце туннеля? Красивейшая атака в партии со Смысловым? «Белочка», переведенная на монгольский язык? Еще одна заманчивая поездка в Малайзию? Далекое киевское детство?

Он умер к вечеру двадцать третьего сентября, когда в его Киеве было уже утро. Эдуард Ефимович Гуфельд прожил 66 лет, 6 месяцев и 6 дней. Попытался ли бы он сам — любитель ассоциаций — создать какой-либо образ из этой круговерти шестерок или, наоборот, отказался бы от опасной затеи?

Он любил животных, особенно птиц, и мог часами наблюдать за ними. В Даугавпилсе в 1978 году кормил чаек, подбрасывая пищу прямо в воздух. Хищные птицы с гамом и криком хватали

добычу на лету, вырывая куски друг у друга. Не такими ли виделись Эдику и человеческие отношения, в которых главным и единственным должен был быть элемент личной выгоды, постоянной борьбы за место под солнцем. «Рос я в типичной для всего Советского Союза нищете, в жутких условиях. Жизнь нередко загоняла меня на край обрыва и просто-таки вынуждала оскалывать зубы, любой ценой цепляясь за всё, что можно», ~ вспоминал он о своем детстве.

В чем-то так и оставшийся большим ребенком, он до самого конца не соответствовал своим годам и даже не прилагал усилий убедить себя, что он давно уже в возрасте тех людей, которые казались ему старыми, когда он сам был молод. Для всех он оставался Эдиком или Гуфой, и если кто-нибудь и говорил ему Эдуард Ефимович, это звучало скорее как шутка.

Я думаю, что в сущности он был очень одиноким человеком.

Его отец погиб в первые месяцы войны, и Эдик рос в обстановке безграничной любви матери, которая так и не вышла замуж, посвятив всю свою жизнь сыну. Она боготворила его, но, будучи классической «а идише мутер», хотела решать за сына все его жизненные вопросы. И для нее Эдик всегда оставался маленьким Эдинькой, в военные ли годы эвакуации в Самарканде, в голодном ли сорок шестом в Киеве, когда болельщики, стоявшие у кромки футбольного поля, кричали «Гуфа, бей!» худенькому, беспрестанно вступавшему в пререкания с судьей мальчишке. В пору ли расцвета его, когда фамилия Гуфельд звучала по радио и не сходила со спортивных страниц. И в так быстро пролетевших десятилетиях, проведенных им в бесконечных поездках, вплоть до последнего объявления в американской русскоязычной «Панораме» от девятого октября: «Нет слов, чтобы выразить боль утраты моего единственного сыночка, любимого и дорогого мне человека, Эдуарда Гуфельда. Мое сердце залито кровью. Дорогой сын, ты всегда будешь со мной. Одинокая любящая мать».

«Здесь я родился, здесь стал играть в шахматы, здесь каштаны, которых нет нигде в мире, в Киеве и воздух какой-то особенный», — говорил Гуфельд. От улицы Лысенко, где Эдик жил с матерью в однокомнатной квартире, совсем недалеко до парка Шевченко. Там с незапамятных времен в любую погоду собираются шахматисты, играя блиц или просто так - навывлет.

Играют и сейчас.

Ноябрь 2002